МАРИЯ ГОЛОВАНИВСКАЯ

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

Мария Голованивская

Я люблю тебя

«Автор»

Голованивская М. К.

Я люблю тебя / М. К. Голованивская — «Автор»,

«Я люблю тебя» – история любви «крутой» бизнесвумен и юноши, сына ее друзей. Запретная страсть, невозможные отношения – вот что лежит в основе романа, написанного в лучших традициях Франсуазы Саган.

© Голованивская М. К.
© Автор

Мария Голованивская
Я люблю тебя

– Я люблю тебя.

– Зачем?

– Господи, что ты у меня спрашиваешь?

– Если ты будешь так смотреть на меня – и вправду влюбишься.

– Ты не хочешь?

– Я не хочу. Семьдесят второй год.

Мне девятнадцать, тебе двадцать два. Ты умеешь лучше меня любить, я отдаюсь твоим поцелуям, твоим объятиям, твоей страсти впервые по-настоящему. Я закрываю глаза и как будто плыву тебе навстречу.

… Через пятьдесят лет я буду уныло сидеть в своем роскошном загородном доме среди картин и послушных собак, я буду говорить низким голосом прописные истины, мол «мужчины всегда предадут», болтать со сморщенными, перекрашенными подругами о деньгах и забавах разнопородной человеческой поросли, добившейся славы, дочь будет исправно звонить мне два раза в неделю и рассказывать о похождениях своего непутевого, но неизменно гениального мужа.

– Я уезжаю сегодня вечером.

– Но ты же приехал на три дня.

– Незачем.

– Я что-то сделала не то?

Я беру тебя за руку, смотрю в твое покрасневшее от загара лицо, серые глаза в черную крапинку, вдыхаю сладковатый запах твоего пота.

Что случилось, милый, мой милый, мой самый любимый, что с тобой, что, что, что?

Рыдания. Невыученный урок. Мама говорила мне, что нельзя плакать, что это конец всему, что это вызывает в мужчине одно раздражение. Она говорила мне об этом с удивительным постоянством, вспоминала даже перед самой смертью, когда не позволяла себе слез в присутствии своего последнего возлюбленного – холеного высокого статного Бориса с гривой седых волос и взлелеянной, оловянного цвета шикарной бородой.

Ей было больно, она стискивала кулаки до синевы ногтей, но никогда не плакала.

Ты отворачиваешься. Все правильно. Я впериваюсь глазами в море, в желтый песок, в мерзких чаек, в колышущиеся на волнах хлебные и арбузные корки. Пивные пробки, осколки пивных бутылок под ногами. Кто-то окликает меня, но я не оглядываюсь.

– Тебя зовут.

– Я слышу.

– Нет, ты не слышишь. Тебя зовут.

Хохот за спиной и дико фальшивый хор про лаванду и летнее солнце, розовые блики и фейерверки счастья.

– Тебя зовут.

– А пошел ты!

– Ну, вот и слава Богу.

– Бабушка я не хочу есть.

– Вот еще новости. Зареванная, как чумичка. Ешь, давай, для тебя старалась.

– Бабушка, он уехал.

– Кто уехал?

– Мой Сашка.

– Так тебе и надо, дурехе.

Борщ разливается по столу. Вилка, котлета, макароны – все вперемешку с осколками лежит посреди кухни, и ты, моя любимая, моя дорогая бабулечка, которой нет уже двадцать лет, хлещешь меня по щекам мокрым полотенцем за все – за бесконечное вранье, за грязные ногти, за ненаписанные родителям письма, еще раз, еще и еще, приговаривая: «Так тебе и надо, дурехе, гадкой девчонке, у которой на уме одни пакости».

– Я ненавижу тебя. Слышишь? Я ненавижу тебя. За твою тупую жизнь. И я догоню его. Я покажу тебе след каждого его поцелуя. Он останется здесь со мной, а ты выкатишься куда подальше, в Москву, понятно?

На узкой запыленной кривой удочке ни одного такси. Подъезжают хамоватые южане, подмигивают и сально предлагают: «Садысь, дэвочка, я высушу твоы слезы». Я с шумом захлопываю дверцы их обшарпанных авто и бегу через рынок, мимо белоснежных сырных голов, гигантских пучков укропа, петрушки и рейхана, тархуна и сельдерея. Тошнота подкатывает к горлу от разложенных на искривленных алюминиевых подносах коровьих легких, трахей, почек, от всего этого пахнет теплой плотью, и, кажется, сало стекает с раскрасневшихся круглых лиц, оскаливающихся жутковатым рядом золотых зубов.

Они голосят, эти торговцы, хватают меня за руки, тягуче предлагают купить сладких, как мед, огурчиков, сдабривая свои исковерканные слова такими же сальными, как и их лица, комплиментами: «Смотри кака, ягодка спэлая, налитая, взал бы и скушал тэба, а, дэвушка?»

Вокзал направо. Чертовы босоножки, всегда стирают место под косточкой в кровь.

Скрип тормозов.

– Спятила, сучка?!!!

Мимо жующих чесночную колбасу теток, мимо мужичков, сплевывающих на вздыбленный асфальт мучнистую слюну коричневого цвета, мимо яичной скорлупы и серебристых оберток от эскимо.

– Во сколько поезд на Москву?

Очередь в справочное запыленное окошко с синими облезлыми буквами словно выворачивается наизнанку:

– Не отвечайте ей, она хамка недорослая! Почти что криком:

– Во сколько поезд на Москву?!!! Тетка в сарафане с дынями, из конца очереди, тянет меня за рукав:

– Чертовка! Чертовка, дрянь московская!

– Да что с ней цацкаться-то?

Замешательство, хлопок – грязный серый кафель перед глазами. Жар в переносице, теплая липкая кровь на лице.

– Господи, что наделали…

Их лица. Снизу вверх – в круговороте потолка, на засиженных молочных полуразбитых плафонах – их темные, красные, желтые лица с ввалившимися глазами и зловонным дыханием, обломанные ногти на руках, уродливые мизинцы, шрамы.

– В котором часу поезд на Москву?

– Да нету сегодня поезда на Москву, деточка. Только завтра в одиннадцать и послезавтра в восемь.

Сухонький, кажется, невесомый старичок в белой соломенной шляпке: «Пойдем отсюда, сядем в сторонку».

Бутылка дюшеса, кровавые пузыри из носа.

– Не вытирайся рукой, смотри, как измаралась.

С этого коротенького облупленного перрона с белыми прямоугольными столбами, сплошь испещренными грязными надписями, мы уезжали множество раз. Иногда с папой – высоким, заросшим, в клетчатой рубашке с нестиранными манжетами, иногда с мамой – высокой, стройной блондинкой, хрупкой, безупречной и в осанке и в словах, строгой и всегда

немного безучастной, иногда с бабушкой, вечно паковавшей в дорогу курицу и котлеты. И всегда одно и то же похлопывание по спине и один и тот же вопрос:

– Ну что, отдохнула? Смотри, как вытянулась, загорела, на следующее-то лето приедешь?

Старичок что-то говорит без умолку. Успокаивает. Спрашивает, где мы здесь живем, предлагает проводить, пока еще не подошел его поезд.

За спиной грохочет музыка, все та же лаванда, шум голосов, грохот тарелок. Через несколько минут, посвистывая, к перрону подходит поезд с белой полосой вдоль своего синего бока с надписью «Сочи – Ленинград». Старичок подхватывается:

– Иди домой, детка. До свадьбы заживет.

– А когда поезд на Москву?

Грязная дверь в вокзальный ресторан. Окно с серыми от пыли шторами, потасканные официантки. Родинка на щеке, светлая прядь волос поперек лица, серые в черную крапинку глаза, там, в углу, в самом темном углу зальчика, пропахшей несвежим шашлыком и разбавленным пивом. Сашка.

– О, пришла.

Пьяный, плывущий как заезженная пластинка голос. Липкий от пролитого пива стол.

– Сашка, я хочу поговорить с тобой.

– Говори, все равно поезд только завтра.

– Сашка, что случилось, почему ты меня так мучишь?

– Говори тише, и так уже все ржут от твоих речей.

– Я просто хочу знать, что случилось.

– И что тогда будет?

– Тогда я пойму.

– И что будет, если ты поймешь?

– Я объясню тебе, что ты…

Я смотрю – и стараюсь не смотреть. Красное от загара лицо, сильная шея, нестриженные русые выгоревшие волосы, красивые прямоугольные кисти. Я объясню тебе, что наконец поняла, как плохо себя вела, но что ты мой любимый, мой единственный.

– Понимаешь, понимаешь?

– Посмотри на себя. Сарафан в пятнах, локоть разбит, лицо в каких-то разводах. Прости меня, Ларка, я виноват, не сумел красиво. Я просто больше не люблю тебя, понимаешь?

– Понимаю.

Кипяток по позвоночнику, молитвы сквозь прикушенную губу: «Господи, Господи, сделай так, чтобы, сделай так, чтобы»…

– А кого любишь?

– Зачем это тебе?

– Так, пригодится – воды напиться.

– Для этого не пригодится.

– А зачем приезжал?

– Сказать.

– Шутишь? Да?

Закуриваешь, медленно затягиваешься, медленно выпускаешь дым. Наливаешь пиво и, глядя в стакан, пьешь его крупными глотками.

– Ты знаешь, что я из-за тебя делала? Знаешь, что одалживала по подружкам платья, что клянчила у мамы духи, что крала у отца для тебя сигареты, что врала всем подряд, что жила с сердцем, отсчитывающим секунды, а глаза ничего не видели, кроме большого белого бездушного циферблата висящих на стене в кухне часов, я сделала аборт, украв дома деньги, и даже не сказала тебе?

– Прости, Ларка. Я пойду. Давай выпьем пивка, я дурак, Ларка, я знаю, прости меня.

– Тогда только одна последняя просьба, выполнишь? Кто она?

Я вижу, как мерцают твои глаза и чувствую, что ты хочешь сказать. Я понимаю, чтобы ты не шутишь, что сейчас, назвав ее, ты поставишь последнюю точку.

– Ты хочешь имя?

– Да.

Бесконечная пауза. Закуриваешь. Опять крупными глотками пьешь пиво. Не можешь выговорить. Значит, и вправду любишь.

– Зачем тебе?

Я – почти что криком, так что все оглядываются:

– Ну же!

– Хорошо. Ее зовут Наталья. Можешь не ревновать. Она старше твоей мамы, и у нее сын старше меня на два года. Она очень богата, я сам не знаю, что со мной случилось, понимаешь, Ларка, сам не знаю. Знаю только, что хочу к ней, быть с ней все время, каждую минуту, видеть ее, целовать ее волосы, прикасаться к ее груди. Я спятил, Ларка, я болен ею, понимаешь, болен.

Официантка осторожно убирает со стола пустые бутылки и приносит никем не заказанное шампанское, водку и стакан для меня.

– Я убью ее.

Мы выпиваем.

– Успокойся. Я сам краду деньги и одалживаю одежду у друзей. У Борьки, у него отец выездной. Я покупаю ей цветы на последние, я хочу все бросить и зарабатывать, только для того, чтобы не чувствовать себя рядом с ней жалким оборвышем.

– Я убью ее.

Ты рыдаешь, обхватив голову руками. Мы выходим из ресторана, нас обоих страшно тошнит, мы еле-еле добираемся до ночной набережной, садимся на холодный песок, говорим одновременно, ты просишь прощения и говоришь, что не знаешь, как жить. Я обнимаю тебя, мы внезапно замолкаем, сидим, раскачиваясь под шум ветра и рокот волн, и я понимаю, что завтра ты и вправду уедешь, и что я на самом деле не знаю, как дальше жить.

И потянулись дни. Бесконечные, как рулон дешевого ситца.

Вечерние одинокие прогулки вдоль моря, с гулким эхом прошедших разговоров, с воспоминаниями о подаренных зажигалках, как он тогда разулыбался и поднял меня на руки. Он вообще любил брать меня на руки и носить по опустевшей на уик-энд квартире, раскачивая в разные стороны.

Теплый ветер в лицо, вокруг эти вечно подвыпившие разговаривают и целуются, хохочут и танцуют, падают, дурачась, на песок.

Сашка, что он теперь, вчера, сегодня, завтра, звонит и знакомыми интонациями назначает встречи, знакомыми движениями расстегивает пуговицы на блузке, по знакомой привычке пробуравливает шею и щеку сначала носом, и только потом дотрагивается губами.

Бабушка жалеет. Вижу, что зря не пристает и как будто не замечает моей беготни на почту – я, конечно, жду от него письма – малюсенького, где он напишет, что ему без меня хреново, и вот я приеду, и тогда.

Я бегаю на почту по два раза в день, по узкой, поросшей можжевельником тропинке, взвивающейся на самую вершину пригорка, под которым стоит наш дом. Мелкие камешки забиваются в сандалии, но по дороге туда я даже не останавливаюсь, чтобы вытащить их.

– Мне ничего нет?

Мальчишка лет пяти, что крутится вокруг почтальонши – тощей пятидесятилетней крашеной брюнетки с изможденным лицом и запахом бедности, сквозящем во всем ее облике – ее сынишка, конечно же, дразнится, картавя переспрашивает: «А сто-нибудь длугое спросить не мозес?»

– Вам писем нет, – угрюмо отвечает почтальонша – как я узнаю через два дня, моя тезка Лариса – и нечего сюда таскаться. Оставьте адрес, вам принесут.

– Никогда не принесут, вы же сами знаете, – отвечаю я, стараясь улыбаться.

Я улыбаюсь ей, потому что все в ее руках.

Иногда по ночам я просыпаюсь от ясного ощущения, что письма от Сашки приходили, и она, эта Лариса, читала их, глумилась над ними и вышвыривала в помойное ведро.

Но утренняя еле заметная пляска занавески возвращала мне разум. Все чудесным образом само расставлялось на свои места. Вот-вот мы вернемся в Москву, впереди последний учебный год, нужно будет писать диплом, милые биофаковские друзья, вечеринки, подумаешь, трагедия, вон Федька сохнет по мне уже третий год – неуклюжий коренастый белобрысый парень с параллельного потока. Возьму, да и выйду за него, сразу, как приеду. Переедем жить к бабушке в двухкомнатную квартиру, переклеим обои, родим детей, будем работать и просто жить, как все.

В тысячный раз, почему-то в особенно тяжелое для меня послеобеденное время, я садилась сама за письма к Сашке. «Я не понимаю тебя, но прощаю за все, потому что по-прежнему очень люблю тебя». Или: «Мы все равно навсегда останемся друзьями, я всегда буду готова выслушать тебя и помочь. Пожалуйста, не делай сейчас глупостей, ты талантливый физик, не бросай аспирантуру, защищай кандидатскую, не сворачивай со своего пути во что бы то ни стало». Или: «А знаешь, Сашка, я обязательно дождусь тебя. Я знаю, что все, что с тобой или, если хочешь, с нами стряслось, – это как болезнь или испытание – и мы должны его выдержать».

Писем я не отправляла. Несколько раз у меня обрывалось сердце, когда на почте очевидно чем-то очень больная Лариса уныло сообщала мне, что пришло письмо. Дважды это были письма университетских подруг, которые похихикивая рассказывали, как водится, о шмотках, мальчиках и доносили последние сплетни о профессуре и их отношениях с аспиранточками. Пришло одно письмо и от Федьки – тягучее, псевдоразумное, от которого страшно засаднило внутри и захотелось к Сашке, да так, что я даже не выдержала и заказала разговор с Москвой.

Перепроверила каждое свое слово, тысячу раз многократно поменяв тактику разговора, от «все нормально, отдыхаю, прихожу в себя» до «схожу с ума и все равно очень люблю и все прощаю тебе – знай это». И, конечно, обожглась, содрала даже еще на начавшую заживать рану, услышав в трубке глухой голос всегда меня недолюбливающей его матери, что «Саши нет и он будет поздно».

– Что-нибудь передать? – вежливо поинтересовалась она. – Сказать, что ты звонила?

– Не нужно, – попросила я, почувствовав дикий позор, – я перезвоню сама.

Плохая фраза и еще более ужасный ответ:

– Перезванивай завтра. Он обещал быть после обеда.

В Москве мы увиделись через несколько дней после моего возвращения, и я не узнала его.

Он похудел, осунулся, лицо его сделалось как будто скользким, мои любимые серые глаза в крапинку выписывали кривые круги и ни разу не остановились на моем лице.

Он мог говорить только о ней. О том, как она то холодна, то тепла с ним, о том, как она любит его ласки, закрывает глаза и стонет от его прикосновений. Он будто не отдавал себе отчета в том, с кем разговаривает, не чувствовал, что причиняет мне невыносимую боль, говорил о ее нарядах, жаловался, что она скрывает его ото всех и что он чувствует себя мальчиком по вызову, но что она говорит, что любит, и ради этого он живет.

– А что у тебя с руками, Сашуня? – спросила я, стараясь как можно точнее исполнять роль настоящего друга, которому можно рассказывать все. Я знала, что именно так он сейчас хотел воспринимать меня и каждый раз перед тем как выдать очередную подробность, повторял как заклинание: «Ты же мне друг, я знаю, настоящий друг».

– Я разгружал вагоны на Киевском, по десятке за ночь. Купил ей колечко, конечно, похуже, чем у нее есть, но вроде ей понравилось. Только не носит. Как ты считаешь, почему не носит?

– А что твой диссер?

От этого вопроса он впал в ярость. Говорил, что я как все и не понимаю, что диссер никуда не убежит. Он очень рассердился и только в самом конце разговора, излив свой гнев на этих яйцеголовых, и под видом страшной тайны признался, что устроился грузчиком в «Березку», и что теперь уж точно будет чувствовать себя с ней уверенней.

Мы сидели в кафе-мороженом на Ленинском, пили «Саяны» и ели шоколадные и сливочные шарики пломбира. Он попросил меня заплатить и, явно очень стесняясь, попросил денег в долг, на пару дней, до следующей встречи, ведь мы же увидимся через пару дней, созвонимся и увидимся. Или он зайдет за мной на факультет после занятий. Посмотрит расписание и зайдет.

Я, конечно, отдала все, что у меня было, и в следующий раз мы увиделись через полгода. Тогда уже ни он, ни я не были похожи на себя тогдашних.

Я знаю, что через пятьдесят лет я буду сидеть в своем шикарном загородном доме среди послушных собак и пустой болтовни подружек – вдов знаменитостей. Полуразвалившись в ампирном кресле на рахитичных лапах с шелковой сине-желтой обивкой, я буду потирать как бы незаметно то один; то другой распухший сустав. Мы будем неспешно говорить о диетах и новых методиках омоложения, сравнивать курорты, на которые я буду ездить, называя их «реставрацией памятников старины». Моя дочь Наська будет послушно звонить мне два раза в неделю, скучно справляться о моем здоровье и как бы невзначай говорить о назревшем ремонте или покупке новой дорогой шмотки, которую я должна спонсировать.

Я как раз беременна Наськой во время нашей встречи, той самой, через полгода, я собираюсь замуж за скучного Федора, обезумевшего от счастья и заваливающего меня дурацкими подарками и перспективами. Я пополнела, немного отекла, но я несу свою внешность с достоинством, понимая, что могу показать тебе, как у меня теперь все отлично и какая я мужняя жена.

Ты смотришь на меня с некоторым удивлением, но вялым. Ты страшно осунулся, на правой кисти у тебя появилась дурацкая наколка – ящерка, кусающая себя же за хвост, и ты показно угощаешь меня все в том же кафе-мороженом не только «Саянами», но и бутербродами с семгой, которые бармен с лицом проворовавшегося комсомольского работника достал для тебя из-под полы.

– Хочешь шампанского?

– Мне нельзя.

– Любишь своего будущего супруга?

– Ну что за вопросы, Сашок, машину вот себе покупает, «шестерку», будем сначала жить у его родителей, потом снимать.

– Да ты же всегда смеялась над ним, говорила, что зануда, комса, ты никогда и не подпускала его к себе.

– Ты-то как?

С этого вопроса ты срываешься и с бешеной скоростью несешься вниз, по бесконтрольному спуску потока слов, эмоций, боли.

Сначала говоришь, что встал на ноги, все теперь можешь себе позволить, называешь какие-то марки виски, пустые бутылки из-под которого коллекционно украшают кухни ценителей прекрасного.

Хвастаешься своей новой лайковой кожаной курткой – попробуй, какая мягонькая, и внезапно прорывается ОНА, скрывающая все от мужа, играющаяся тобой, как кошка с мышкой, устающая от твоих сцен, неурочных визитов, пьяных звонков.

– Знаешь, для чего только я ей нужен? – говоришь ты, крупными медленными глотками допивая пятую гигантскую кружку пива. – Только для того, чтобы ее ублажать. Когда уезжает ее муженек, внешторговец, лежать с ней в ванной и обсасывать ее пальчики в дорогом педикюре.

Тебя несет, и ты не можешь остановиться. «Только ты одна меня когда-то любила, – говоришь ты пьяным, плывущим, как плохая пластинка, голосом, – только ты, Ларка, а она мною просто пользуется, понимаешь, пользуется, как поваром или ветеринаром».

– Ладно, Сашок, я пойду.

Каким-то страшно чужим движением ты достаешь из кармана флакон духов «Клима» и протягиваешь мне его.

– На, вот возьми, хотел ей, но она недостойна, ты достойна, ты и возьми.

Наконец-то свободна, вот оно, счастье, все эти полгода только и расспросов, что о тебе, у всех общих знакомых – с фейерверком мнений от «опустился» до «повзрослел». Жадные рассказы о внезапно появившейся распущенности и богатой женщине, от которой он без ума – перестал бывать у старых друзей, снимает квартиру неизвестно где, пьет, сыплет деньгами, одевается шикарно, разъезжает на каких-то очень модных машинах, пару раз видели вместе: однажды в Большом, другой раз якобы в «Арагви» в шумной компании, и каждый раз ком в горле и беспомощные звонки Федьке, капризы «хочу то, хочу это».

Мысли о самоубийстве, запойное чтение стихов Ахматовой-Цветаевой-Ахмадулиной, мы много говорили тогда с мамой, сидели вечерами на кухне, вместе курили, она мне очень советовала Федора, говорила: «Надежный и очень тебя любит», они тогда были в разводе с папой уже три года, и она маялась, выбирая между вечными поклонниками, от которых всегда не было отбоя.

– А ты как думаешь? – спрашивала она меня, элегантно затягиваясь. – Вот этот талантливый, но пьет, а вот этот скучноватый, но верный, прямо как твой Федька. Давай, ребеночек, – так она называла меня всю жизнь, – будем ставить с тобой на верных коней, строить надежную жизнь, а не гоняться за чумными красавцами. Они, видишь как, сами не знают, куда скачут.

Она часто говорила, что Сашка плохо кончит, жалела его, вытирала мне сопли-слезы, иногда всхлипывала сама, бережно промакивая носовым платком слезы в уголках глаз, аккуратно, еле касаясь, чтобы не было морщин, мы часто сидели обнявшись перед телевизором, и она, словно убаюкивая, приговаривала:

– Не расстраивайся, ребеночек, хочешь, купим тебе чего-нибудь новенького, хочешь? Все это у тебя пройдет, вот увидишь, хочешь поклянусь?

Он уходил, задевая стулья около чужих столиков, чертыхался и извинялся, как-то боком шел к выходу, будто нарочно не оглядываясь, как обычно, раскачивал плечами, на секунду приостановился у зеркала поправить шелковое бордовое кашне в малахитовых ромбах и наконец исчез в дверном проеме, как мне тогда показалось – навсегда, отпустив на свободу меня, мои мысли, мои действия, больше ничто не жгло внутри, не наполняло жуткой ноющей тоской. Он вышел через облезлую дверь кафе-мороженого из моей жизни, дав мне возможность наломать своих дров, конечно же, расстаться с ненужным теперь Федором, родить и воспитывать одной дочь, по ночам, среди пеленок писать ставшую никому не нужной через 10 лет диссертацию по моей обожаемой биологии, лицезреть прелесть маминых надежных коней, которых она с завидной регулярностью, примерно раз в три года, меняла на ненадежных. Все они почему-то, как сговорившись, начинали совместную жизнь с ремонта на кухне, так они мне все и запомнились – под потолком в газетных пилотках, с кистью в руках, перекрашивающие стены то из белого в оранжевый, то из оранжевого в салатовый.

В последний раз мы столкнулись с Сашкой случайно, через пять лет на улице Горького. Мы шли с Наськой из «Детского Мира», затоварившись в очередной раз колготками и варежками – зимний пасмурный промозглый день, скользота и нищета, плохой свет горящих через один фонарей.

Ты окликнул меня, подошел – неузнаваемый, изможденный, на костылях, постаревший на двадцать лет.

– А-а-а, потомство! Как зовут?

Сначала я не узнала тебя. Только через секунду картинка совместилась с образом, смутно маячившим в моих мыслях все эти годы.

– Наська. Откуда ты?

– Да вот, вышел. Не знаешь ничего? Подрался тогда в баре, в этом, ну в «Белой лошади», из-за Наташки, ударил вроде не сильно, а у него открытый перелом черепа. Видишь, шапка на мне, из волка. Сам убил и сам сделал шапку. Нравится?

– Жутковато.

– Позвонишь? Как Федор-то твой?

– Все нормально.

– Привет ему от меня, Ларка, и скажи, что живет он мое счастье.

– Ладно, передам.

Дальше твои следы пропали окончательно. Только однажды, спустя еще лет пять, когда мы с моим очередным мужем покупали холодильник, мне показалось, что один из грузчиков чем-то ужасно напоминает тебя. Так же раскачивает плечами и так же, как это когда-то делал ты, вытирает пот со лба.

Ты, не ты?

Я думаю, что это была последняя остановка поезда, последняя оглядка назад, последнее эхо, донесшееся из тех лет, которые потом еще помнишь, хотя бы с какими-то деталями.

Помнишь долгие раздумия и чудесные превращения чувств, ожидания, предчувствия, пар над чашкой горячего чая, холодную ладонь на плече, помнишь тембр голоса в трубке, планы, усилия, преодоления. Потом этот поезд несется на всех парах, почти что без остановок, плотный поток жизни забивает глаза, нос, уши, Наськина школа, бесконечная смена работ, переезды, покупки, ремонты, браки и разводы, конечно, рвущие душу. Виды из окон мелькают так, как будто бы это не поезд мчится, а птица, двор на Новослободской, площадь у Чистых прудов, зады скучных зданий на Баррикадной, опять Ленинский, уже после смерти мамы, 15-й этаж, дарящий роскошь умопомрачительных закатных панорам, чудесный парк МГУ, заплеванная Профсоюзная улица, на которой одно НИИ, затем там же другое, Тушино с выкорчеванными фонарями и валяющимися на остановками пьяницами.

Дальше без остановок до того самого дня, когда причудливое стечение обстоятельств воткнуло меня в самолет, летящий на Канары, самолет, заполненный такими же усталыми, потерянными и одновременно обретшими себя людьми, как и я.

Я пакую вещи, Наська сидит напротив и бесконечно ноет. Я раздражаюсь на нее, но вида не подаю.

– Вот, смотри, – говорит она, совершенно не делая пауз между разными сюжетами, – мы идем на прогулку, я, Витька и его доберман. Он берет фотоаппарат и всю прогулку снимает его, а не меня.

– Что, прямо-таки ни разу тебя не щелкнул?

– Ни разу.

Я купила квартиру этой дурехе полтора года назад, когда ей исполнилось восемнадцать. Поступила в универ – молодец, на тебе шубу, хорошо учишься – на тебе квартиру.

Конечно, я виновата перед ней, все детство кидала ее на руки маме, потому что нужно было учиться, работать, а потом еще в самом что ни на есть зрелом возрасте все начинать с нуля. От удушающего безденежья бросать кафедру и начинать свой бизнес. Собрались тогда с подружками, три ночи сидели на кухне и решили – будем завозить из Италии дешевую одежду, откроем сначала киоск, потом, может быть, магазинчик. Сейчас уже не помню, кто сказал, что в Италии масса фабрик, где шьют хорошо и очень дешево.

Наська тогда переехала к маме насовсем, хотя было понятно – трудный возраст, впереди поступление. Не виделись с ней месяцами. Ее первая любовь прошла мимо меня, ее поступлением тоже занималась мама.

Наська получилась совсем не такая, как мне хотелось, – суетливая, мещанистая, долгое время стеснялась, что я торгую одеждой, только потом, когда открыла свои бутики, – приняла.

– Или вот еще – не унимается Наська, – он планирует свой день, никогда не осведомляясь о моих планах. Спросишь его, что у тебя завтра, он отвечает, как автомат, все у него расписано по часам, а меня даже и не спросит, когда я освобождаюсь, что хочу делать?

– А зачем поселила?

Я не слушаю ответа. Я то и дело поглядываю на свое отражение в стеклянную дверцу шкафа-купе в спальне – лицо опять усталое, губы белесые. Изношена, как двадцатилетнее пальто. Кем, чем, отчего?

Бизнесом, начатым с нуля и выжирающим все из тебя, как яйцо из скорлупы? Да еще в том возрасте, когда положено пожинать лавры предыдущей половины жизни, а не начинать наработки. Отношениями с мужчинами, всегда рвущимися мерзко и не вовремя, как плохие колготки, жизнью, где взятки и наезды, воровство и предательство, где без полного отрицания былых ценностей, былых правил нельзя сделать ни шагу.

– А с кем, ты говорила, едешь?

– С Маринкой, ее Жан-Полем и сыном Маркушей. Вы с ним совсем не общаетесь, в детстве-то дружили?

– Твоя Маринка сделала из сына тютю, возится с ним как с писаной торбой, он, кажется, на экономическом? Видела тут его – нахохленный, в галстуке, слова в простоте не скажет, говорят, он заядлый тусовщик, но, я думаю, врут.

Скомканные вещи в сумке, скомканные мысли в голове. Нужно поехать и прийти в себя, все правильно, пожариться на солнце, покупаться, прочесть пару детективов. Пачка сигарет в день, постоянные выпивки на деловых обедах и ужинах с чиновниками и поставщиками, хронический цейтнот и стрессы сделали свое дело – таблетки всех пород и цветов, бессонница по ночам и адское желание спать в течение дня, тахикардия и барахлящая печень.

В самолете сплю как убитая, не замечая никого и ничего вокруг. Впервые открываю глаза, в полном смысле этого слова, только в аэропорту по прилете – объявления рейсов на пяти языках, потом такси с громким радио и неудержимо болтающем на плохом английском таксисте, тут же предложившем нам купить какие-то латиноамериканские амулеты. Дальше – утомительное размещение в гостинице с просторным холлом, маленькими уютными номерами, видом из окна на море; пальмы, спортивные площадки и маленькие ресторанчики, живописно раскинувшиеся под живописными пальмами.

Маринка, с которой мы вместе учились на биофаке, выскочившая на третьем курсе за знаменитого нумизмата семидесяти лет, сумевшая-таки родить от него Маркушу и остаться в тридцать лет самой великолепной и состоятельной вдовой Москвы, источала покой и сияние перстней, улыбки настроя. Она говорила, по-светски растягивая слова, вальяжно принимала отчеты о чудесах сервиса, предлагаемые отелем, умело, но очень степенно, именно так, как это делают женщины, давно живущие как в роскоши материальной, так и в роскоши строго регламентированных отношений, оказывала знаки внимания Жан-Полю, своему многолетнему спутнику, французу американского происхождения, архитектору, давно почивающему на лаврах благоустроенного юга Франции – там у него госпиталь, там отель, там торговый центр. От всей его архитектуры, судя по фотографиям, веет неистребимым головокружительным духом шестидесятых – конечно же, золотой перстенек на мизинце, болотного цвета вельветовые штаны, тысячи раз рассказанные байки о фуа-гра и свиной колбасе собственного приготовления. Между собой с Маринкой – шери-шери, comme tu veux-comme tu veux, – отлакиро-

вано-отполировано до блеска. Я на их фоне просто ломовая лошадь, давно съевшая все свои зубы.

Как же меня бесит этот Марк! На мгновение мне даже кажется, что из-за него весь мой отдых пойдет коту под хвост. Круглые металлические очки, длинная шея с выступающим кадыком, надменное выражение лица, коротковатые джинсы, нарочитое равенство в отношениях – тинейджерское, но очень последовательное, этот самый ваш знаменитый cool (мы очень спокойны, мы сделали вам хорошо и сделаем еще лучше) вызывает у меня бешенство имени старой перечницы, тупо не желающей принимать, что мир изменился в таком идиотском направлении.

«Дурацкий мальчишка, вот дурацкий мальчишка», – бубню я себе под нос во время всего первого дня, в котором больше напряжения от перемены места, чем отдыха. Сидит в полудранных джинсах, расставив ноги, трясет головой в такт шуршанию наушников, отпускает комплименты мимо проходящим девчонкам – то по-английски, то по-испански, то по-французски.

– Они меня сюда волоком затащили, – внезапно признался мне Марк во время обеда и почему-то подмигнул. – Маменька сказала, – пожаришься немножко, покупаешься и пообщаешься с приличным обществом. Впрочем, я никогда не считал твое общество приличным.

– Прости, что?

– Твое общество я всегда считал изысканным. Из-за этих дурацких пальм мне пришлось раньше времени сдавать сессию, линял, как последний идиот, залечивал наших фригидных доцентш, машину матушка пообещала купить, пропилила все-таки своего Бельмондо. – Каких доцентш?

День второй.

Честный отдых, ленивый завтрак на залитой солнцем террасе, щебетание птиц, радостный визг детишек. Кажется, первый спазм усталости проходит, и глаз начинает потихоньку видеть цвета, ухо различать звуки. Мариночка мирно беседует со мной за завтраком, пока Жан-Поль плещется в лазурной воде бассейна, мастерским глотком осушив высокий стакан свежевыжатого грейпфрутового сока. Беседует о лечебном курорте, где чудесные медсестры чудесными своими ручками делают чудесные массажи, жемчужные ванны и промывания кишечника, без которого в наши годы – никуда, о Лазурном Береге и Ницце, где скука, но, правда, очень полезная для стремительного омоложения.

Все как по книжке – и купание в море, и прогулки по берегу, и королевские креветки на обед, и послеобеденный сон, и чтение детектива в тени белоснежного зонтика с надписью «Мальборо» под плеск волн и льющегося из динамиков еле слышного «Besa me».

У меня чуть загорели щеки, разгладилась кожа и заблестели глаза. Вечером даже захотелось одеться, накраситься и спуститься в бар, выглядеть по полной программе. Не для флирта, конечно, а просто для того, чтобы чуть-чуть распрямиться и на мгновение почувствовать себя нормальной среднестатистической белой женщиной.

Сижу с большим удовольствием в черном коктейльном платье и открытых туфельках и потягиваю свой «Кампари-оранж», краешком глаза наблюдая за бесформенными соотечественниками-самцами, как бы небрежно запускающими пальцы между ягодиц послушно вытанцовывающих с ними белокурых нимф.

И тут появляется Марк – скучный, раздраженный, в несусветных темных очках, черной лайковой куртке, одетой на голое, чуть загорелое тело. Джинсы аккуратно разорваны на бедрах и коленях, – кажется, кто-то специально скальпелем резал их, стремясь обнажить красивые крепкие юношеские ноги.

– А знаешь, как маманя называет своего Бельмондо? Mon amour. Ты когда-нибудь учила французский, ну-ка, попробуй выговорить.

– Учила в университете. Проблемы нет, повторю легко – mon amour, mon amour, mon amour.

– Красиво это у тебя выходит, получше, чем у меня.

Плавным движением пропускает под собой табурет, садится на него верхом, заказывает джин-тоник и вперивается внезапно опустевшим взглядом, еле различимым за очками, в клип, мелькающий над стойкой.

– С мамой что ли поругался?

– Еще чего, – отвечаешь ты, не переводя на меня взгляда, – просто я сегодня злой.

Этот фамильярный тон поражает меня. Мы не виделись несколько лет. Всякий раз, когда я приходила на день рождения к Мариночке – всегда пышный, парадный, статусный, с эксклюзивными напитками в эксклюзивных бокалах и эксклюзивными гостями – Марка спроваживали к бабушке, чтобы не мешался и не слушал ненужных разговоров. Так он и зафиксировался в моей памяти – капризным, визгливым балованным мальчуганом, долговязым и несуразным, пахнущим едой, вечно расстраивающим Мариночку – маму, наполненную правилами хорошего тона.

Теперь в моей голове возникло замешательство. Дорогой афтер-шейв, и показные свобода и любопытство, с которыми он откровенно разглядывал нас, странных взрослых.

Конечно, он может говорить мне «ты», как раз по праву мальчишки, которого я знаю с пеленок, но не говорить же мне теперь ему, что «хорошо бы нам перейти с вами на „вы“, молодой человек», глупо как-то. Но неловко ужасно.

– Сама-то. ты как? – спрашивает Марк, по-прежнему не отрываясь от телевизора.

– Я нормально. Как ты знаешь, вся в работе, чего, впрочем, и вам желаю, злой мальчик. А что у тебя за очки?

– Это не очки, – говорит он вдруг с вызовом, – это очень дорогая вещь. Последний рэйбэн, стекла с тройными фильтрами. А тебе что, не нравится?

– Не нравится. У тебя в них вид дурацкий, да к тому же здесь темно, видишь-то в них как – с подробностями или в общих чертах?

– В подробностях. Вот платьице у тебя от Армани, это я вижу, хорошее, но прошлого сезона, на худой конец, вот так выйти потянуть «кампари» сгодится. А вот с колготками, ты уж меня прости – полный прокол. Такие колготки может себе позволить только бабушка русской революции. У тебя в них ноги в два раза короче и икры не такие сексуальные.

– Что? Икры?

Чувствую, что краснею. Сажусь по-другому. Прикрываю колени сумочкой.

– И еще я кое-что вижу. Вот тебе сколько, лет сорок? Ты прости, я знаю, что у вас глупые предрассудки, и об этом говорить не принято. Но ты выглядишь такой несчастной, как выглядят либо в девятнадцать, либо в восемьдесят пять. Я знаю, что все вы бесконечно страдаете, что занимаетесь якобы ерундой только ради того, чтобы не считать копейки. Но и заниматься ерундой вы не умеете, и деньги тратить тоже. Знаешь, ты ведь красивая женщина. Я – мужчина и могу позволить себе это сказать. Но когда на тебя смотришь, такое ощущение, что кто-то долго тебя жевал, и теперь уже невозможно понять, какой ты была раньше – клубничной или апельсиновой.

– Марк, ты спятил.

– Наверное. Просто сказал, что думал, по праву молодого, зеленого и недозревшего. Если обидел, прости – не хотел.

Пауза длиной, кажется, в битый час. Встать и демонстративно уйти? Отшутиться? Сказать, наконец, что вам, пышноволосым юношам с неуемной уверенностью в себе, и девушкам, умеющим естественно усесться в мини-юбке верхом на стул, очень повезло, что в вашей жизни не было длительной и мучительной эволюции, что вы сразу вылупились вот такими готовенькими, вам не надо было заниматься перерешением ваших судеб, для вас Армани и джин-тоник так же естественны и знакомы, как таблица умножения. Или просто опустить его? Сказать: «Ты сначала заработай свои первые пять тысяч, а потом рот отрывай»?

Пока я решала этот кроссворд, какая-то девушка увлекла его в танец, кажется, болгарка, смуглая, с огромными, почти что угольного цвета глазами и ослепительной белозубой улыбкой. В очень открытой майке и крошечной серебряной юбочке. Я видела, как она едва заметно ласкала под курткой налитую мускулами грудь и видела, что он, фривольно обнимая ее, то и дело поглядывает на меня.

Я не спала всю ночь, думая о том, что, вероятно, Марк должен себя чувствовать ужасно виноватым.

Думала, что мы как раз то поколение, о которое вот это следующее всегда сможет вытирать ноги. Думала, что не была бы счастливее, если бы пошла проторенным путем, получала бы копейки, брала бы с собой на работу бутерброд с плавленым сыром – потому что не хватало бы денег на нормальный обед даже в университетской столовке, Наську бы на ноги не поставила.

И глупо ждать, что кто-нибудь похвалит меня за мои подвиги, старые подруги не приняли «предательства» стези, судачат, говорят о моей бездуховности и радуются, когда я спотыкаюсь. Кроме Маринки, пошедшей самым что ни на есть традиционным путем и сделавшей безошибочную женскую карьеру.

Нормальная пощечина, оплеуха. От мальчика в супердорогом рэй-бэн, в тонкой лайковой куртке, надетой на голое тело. Все правильно, и колготки на мне не те.

Может быть, все-таки нажаловаться Маринке? Ну хорошо, мне нахамил, а если нахамит кому поважнее, пустит свою судьбу под откос?

Я все-таки уже совсем под утро решила, что жаловаться не буду – приму удар и поставлю сопляка на место.

Наутро за завтраком Марк был молчалив, но подчеркнуто внимателен. Щелкнул зажигалкой, как только я поднесла сигарету к губам. Пододвинул пепельницу. Сходил мне еще за кофе. На пляже, предварительно спросив разрешения, лег рядом со мной, в несусветных плавках, лиловых с красными полосками, задал десяток вежливых вопросов «как спала, что читаю, как собираюсь здесь развлекаться».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.